

В О С Т О К

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ И ИСКУССТВА

К Н И Г А П Я Т Я Я

**„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1925 г. — ЛЕНИНГРАД**

сносок на книги целиком, без уточнений, по которым данное свидетельство можно проверить (напр., Chang - Chou III); пропуски, заполнение которых явилось бы для статьи выигрышным (напр., история Ван Аньши в речи о социализме); анархическая транскрипция собственных имен, препятствующая человеку средней начитанности отождествить которое-либо из них с должным (Maetseu, вм. Mo-tzeu; Tchiangseu, вм. Tchonang - tzeu) и т. д.

Таким образом, апологет „Китайского Возрождения“, явившийся из самой авторитетной среды, не мог устоять на твердых ногах и качнулся в сторону традиционного китайского националистического самолюбования. Статья написана на модные темы и приспособлена к читателю „Revue Bleue“, но сомнительно, чтобы этот последний извел из нее убеждение в том, что в Китае сейчас происходит действительно „Возрождение“, а не перерождение в чужие формы по рецептам современной европейской культурной лаборатории.

B. A.

◆ *Henri Maspero. Etudes sur le taoïsme. Le saint et la vie mystique chez Lao-tzeu et Tchouang-tseu.* — Bulletin de l'Association Française des Amis de l'Orient, № 3, juin 1922, стр. 69—89. — Святой и жизнь в мистике у Лао-цзы и Чжуан-цзы.

В этой небольшой, но прекрасной, содержательной и отчетливо научной статье известный синолог, профессор Коллэж де Франс, Масперо сообщает свои мысли по поводу волнующего всех китаистов вопроса о сути и происхождении даосской мистики. Он не считает цивилизацию и культуру Дальнего Востока древнее вообще и в частности Лао-цзы, который, по мнению автора, „только имя“, вряд ли восходит к VI веку, как хочет предание, и, вероятно все, относится не ранее, чем к началу или половине IV века. Однако, он ставит во главу угла китайской мистики не Лао-цзы, а знаменитую книгу Перемен, от которой, по чрезвычайно удачной характеристике ученого автора, даосы „взяли лишь большие линии“.

Самым оригинальным явлением даосской мистики проф. М. считает не теорию их, а именно практику и удачно доказывает это рядом превосходно переведенных цитат. Он сближает их с христианскими и мусульманскими мистиками, и было бы приятно эти сближения выписать, если бы не сознание громоздкости предприятия.

Необыкновенно хорошо владея терминологией, проф. М. кладет своею небольшой статьей большой камень в основание будущих поисков. А его отчетливый

приговор над смутными разговорами о тождестве и заимствовании, будто бы существующих в соотношениях даосизма с буддизмом, должен стать поучительным для очень многих. Он думает, что все эти разговоры поверхностны, а пункты сходства, замечаемые в обоих учениях, объясняются „общим фондом реального психологического опыта, на котором покоится вся мистика“. Таковы идеи иллюзорности бытия, жизни и смерти, которые совпадают с индийскими лишь поверхностно и вида заимствования, при более глубоком рассмотрении их, отнюдь не имеют.

Тем не менее, заключает статью профессор М., именно даосские мыслители подготовили китайскую интеллигенцию к восприятию новой религии, „со многих точек зрения превосходившей все то, что Китай дотоле произвел сам“.

Можно со многим не соглашаться из того, что говорит проф. М., особенно в отношении даты Лао-цзы, ставшей Конфуция в изолированное положение самостоятельного мыслителя, что очень шатко, — но надо признать, что статья, написанная без прорывов, вполне последовательно и очень объективно, является результатом большой начитанности и большого исследовательского опыта.

Очень жаль, что автор не счел пока нужным облечь свои исследования в более специальный и распространенный язык, который, конечно, не помешал бы существованию и этой его популярной статье, которой можно пожелать, чтобы она не затерялась, а для этого — чтобы журнал Общества Друзей Востока распространялся наиболее энергично.

B. A.

◆ *Ли Яньпу.* „Когда я был мальчиком в Китае“. Jan Phou Lee. When I was a boy in China. Illustrated from photographs. London. 1922, стр. 127.

Эта книжка составляет часть серии, в которую вошли воспоминания детства японца Сакаэ Иноуэ, еврея (When I was a boy in Palestine, by Mousa I. Kaleel) и серба (?) — E. Chivers Davies. После эффектных и псевдоэффектных рассказов миссионеров и миссионерок о китайских детях, можно, наконец, с большим удовольствием остановиться на этой маленькой книжке. Трудности, стоявшие перед ее автором, который говорит с аудиторией, не обязанной с ним считаться и оценивающей веши по-своему (а все-таки ты, мол, китаец — и только!), были велики. Все „странное“ можно было представить или в виде парадоксальной апологии, или же в виде брезгливого отшатывания от старого Китая, как, действительно, и поступают китайцы в своих писаниях на

иностранных языках. Тем не менее, Ли удержался от обеих крайностей, и тон его изложения заслуживает величайшего уважения и похвалы. Кроме того, автор локализовал свой предмет, не вмешивая революционных начал — и это дает чистоту, так сказать, его культуру. Так, например, говоря о танцах, он стоит на старой точке зрения на отношения полов и не революционизирует атого. А главное, ему было бы очень легко наполнить книгу выпадами против тех „многих неправильных суждений о китайских обычаях, порожденных путешественниками, которые их описывали, но не понимали“ (стр. 47), но он очень добродушно об этом только упоминает, предоставляя своему рассказу течь мирно и без иронии. Ли ограничился следующими главами: детство, дом и хозяйство, кухня, игры, девочки-знакомые, школы и жизнь в них, религии, праздники, сказки и рассказы, путь в Шанхай, подготовка к Америке и первые впечатления в Америке. Все эти как будто случайные части связаны между собой необыкновенно легким и свободным изложением простых по существу, но очень верных мыслей и наблюдений. Нового, пожалуй, нет, но тон взят такой, что эта маленькая книжка научит переоценить старое и сделать его новым. Так, очень хорошо описана семья, искренне, без преувеличений и преуменьшений существующих пропорций. Тиранин, в ней господствующий, дано добродушно освещенно („так было всегда“), которое, конечно, и есть единственно правильное. Однако, когда дело доходит до суеверий и предрассудков, окутывавших жизнь темной китаевки, Ли не выдерживает и властителей суеверия, монахов и докторов, судит строго, — строже, чем они того заслуживают, как часть целого. И вообще, в своих суждениях о религии Ли проявляет некоторый темперамент, что не мешает, повторяю, очень многому у него поучиться даже кое-кому из патентованных знатоков. Между прочим, надо и нам подчеркнуть то, что подчеркивает Ли, а именно то, что Китай никогда не знал мистически-религиозного принудительного образования и воспитания. Эти несколько слов объяснят решительно все. А если к этому присоединить очень редкое и любопытное описание его первого посещения храма, то картина получается полная. Большого вопроса о европейских миссионерах в Китае Ли не задает, ограничиваясь следующими спокойными и умными словами: „работа миссионеров идет вперед тихо, в виду консервативности китайского ума, его традиций, чистой морали, которой учил

Конфуций, оригинальной школы, а равно и предрассудков, которые китайцы, — и правильно (!), — поддерживают в себе против иностранцев. Кое-что было сделано за последние 50 лет: над страной наблюдали, и ее нужды, ее способности стали известны“. О бинтовании ног Ли рассказывает не менее спокойно, понимая, как никто, всю живучесть и жизнеспособность человеческой моды, создающей пропорции вещей, издали кажущиеся абсурдом и дикостью. Однако он внушает нам своим повествованием ужас, и только его заключительные слова о том, что это изменилось (так ли?), дают некоторое облегчение.

Та же искренность тона заставляет его признать большое влияние на него сверхестественных рассказов, столь сильно и действительно отраженных китайской литературой. В этом вряд ли кто из китайцев сознавался и сознается, и, во всяком случае, никто не признает, что жуткое чувство от этих сказок и рассказов сохранено до седин.

Таким образом, мы имеем перед собой очень хорошую книжку, прочитать которую можно рекомендовать и не только общему читателю, для которого она исключительно написана.

При всем этом Ли не мог, конечно, не впасть в совершенно естественные для столь трудного сюжета неточности и сомнительные показания, не говоря уже о наивностях, в роде „излишней свободы“, которую, по его и нынешнему суждению, страдают английские девушки, не в пример китайским.

Так, по поводу всем известного ужасного обычая топить новорожденных девочек, Ли, рисуя, по своему похвальному обыкновению, картину в достаточной полноте, все же берется утверждать, что в „пропорциональном отношении к населению и распределению благосостояния, детоубийство в Китае так же редко, как в Англии“. Если Ли подразумевает аборт и прочую практику Европы, направленную к детоистреблению, то ему не мешает помнить о том, что аборт в Китае практикуется открыто и что даже на проезжих дорогах вы встречаете объявления о средствах, его учиняющих, — так что очень хорошо со стороны Ли оговориться сейчас же, как он это и делает, что „очень бедные люди, которым и самим-то трудно жить, иногда (occasionally) предпочитают отделаться (make away) от своих детей, чем видеть их медленную смерть от истощения“... Но об этом только и говорилось!

В речи о религии и культуре Ли судит иногда уже не как мальчик („When I was a boy“), но как современный культурный

на западный лад человек, и это портит отличное впечатление от предыдущих страниц. Очень наивно с его стороны утверждать, что „идолопоклонство в Китае не (подчеркнуто у Ли) основано на вере в то, что дерево и камни, а вместе с ними и прочие неодушевленные предметы заслуживают почитания сами по себе, но на вере в то, что на них или в них пребывают духи“ — фраза, напоминающая катехизис Филарета („не доскам и не дереву, а тому, кто на них изображен“) и без которой можно бы обойтись вовсе, а тем более без подчеркиваний.

Теряя чувство пропорций, на этот раз уж оковчательно, Ли говорит об известном историческом романе „Троецарствие“ (Саньго чжи яньи), как о произведении, в котором „расположение деталей повествования, обрисовка характеров и изящество речи найдут очень мало равных себе в английской литературе“. Хорошо было бы прибавить „с точки зрения и для китайца“, и формациональная сторона этого действительно замечательного (по эффекту) произведения для европейца пропадает из-за сплошных условностей.

Нельзя не отметить также сильно распространенного среди китайцев банального понимания учения Конфуция, которое Ли характеризует как „возвышенную философию, состоящую из учения о любви к добру ради добра“. Если даже двуязычный китаец так ценит столь типичное и сложное учение, то чего же требовать от европейцев, сплошь зараженных непротивлением европеизму?

Сомнительным кажется, чтобы известной обычай прикрывать вход особой загородкой с надписями, обличающими ее назначение беречь вход от вторжения бесов, был лишь защитой гинекея от мужского глаза. Сомнителен перевод исторически важного термина первого месяца чжэнь через „regular moon“, создающий, помимо прочего, бессмыслицу. Сомнительны и многие прочие суждения, в том числе и заверение читателя в том, что Ли не может передать европейской датой дату своего рождения. Для этого есть книга китайца, о которой он просто не знает (Concordances des datis Néoméniques, par Pierre Hoang).

Книга издана прилично, но фотографии выбраны, словно нарочно, именно те, о которых в тексте ни слова.

Большого комплимента заслужил бы каждый из нас, который мог бы написать о своем детстве так интересно, как китаец Ли, живущий двойственно, а то и тройственно жизнью (американизированный китаец старого и нового времени) и в то же время умеющий мы-

слить просто, серьезно, открыто и откровенно.

В. Алексеев.

Лондон, 3 июля 1923.

◆ *Waley Arthur. An Introduction to the study of Chinese Painting. London, 1923. Стр. XII + 262, таблиц 49.—(Уэли. Введение в изучение китайской живописи).*

Число книг и статей, посвященных китайскому искусству и специально живописи, чрезвычайно, в общем, велико, и тем не менее мы в праве сказать, что в сущности мы даже и на первой ступени изучения этого величайшего в мире искусства стоим еще совершенно нетвердо. Причины тому совершенно ясны. Прежде всего, число сколько-нибудь легко доступных хороших образцов китайской живописи, в особенности древних периодов, чрезвычайно ограничено, а затем почти нет специалистов, которые бы соединяли знания китайского языка и специальной китайской литературы по живописи с непосредственным знанием оригиналов и соответствующими познаниями в области искусства и истории искусства. Таким образом, почти вся донные существующая литература по китайской живописи на европейских языках страдает от этой половинчатости. Если исключить работы покойного Петруччи, который в значительной мере удовлетворял указанным требованиям, то в книге А. Уэли мы имеем первую попытку широкого, компетентного подхода к китайской живописи, настоящее „Введение“ в это изучение.

Уэли совершенно правильно полагает, что пока еще и речи не может быть о сколько-нибудь реальной попытке дать историю китайской живописи; наше невежество в этой области громадно, и все попытки или эстетизирующих, или мнимо исторических подходов к решению этой непосильной задачи ни к чему пока не привели: мы имеем лишь мертвые списки имен, перечни картин и собрания анекдотов о китайских мастерах. Уэли попытался набросать картину культурной жизни той среды, в которой возникла и развивалась китайская живопись; рассказ его говорит нам об искусстве вообще, о творцах и о ценителях, о теориях, о той жизненной обстановке, которая то протестовала, то содействовала развитию китайского искусства. На этом фоне нарисован ряд портретов, сделана попытка из анекдотов о жизни художников уловить то, что могло быть действительностью. И если о чем можно пожалеть в этой прекрасной книге, то это, что она неизбежно коротка, именно как введение, ибо хорошие введения всегда коротки.